

*Посвящается  
Наталии Николаевне  
Ильиной*

## ПРЕДИСЛОВИЕ

В преддверии новых исканий и достижений, в борьбе за духовную чистоту, за подлинность опыта и предметность познания философии естественно обращаться к своему прошлому, для того чтобы находить в его лучших созданиях вдохновение и напутствие. Истинно великое и значительное всегда остается очагом духа, способным зажечь новые огни и дающим верный знак о новых грядущих победах. Гениальное создание служит как бы дверью для всякого, отыскивающего доступ к самому предмету, но надо суметь не загородиться этой дверью от предмета, а открыть ее для себя и для других; открыть для того, чтобы начать борьбу за самостоятельный, подлинный опыт и за истинное, предметное знание. В этом — высшая и основная задача истории философии.

Странным и непонятным может показаться „возрождение“ гегелианства на первый взгляд, особенно тому, кто не следил за судьбою немецкого идеализма. Да и осведомленному уму могло бы показаться, что после разрушительной работы Бахмана, Тренделенбурга, Гайма, Гартманна и Мак-Таггарта, после того глубокого охлаждения к учению Гегеля, которое постепенно установилось в Германии во второй половине девятнадцатого века, после состоявшегося возвращения к Канту и ввиду явной тенденции к разделению единой философии на целый ряд самостоятельных и специальных наук — трудно было бы ожидать „возрождения“ гегелианства. А, между тем, оно возрождается, и притом именно не во Франции, где ему предстоит еще только „зародиться“, и не в Италии или Англии, где интерес к Гегелю все возрастал и укреплялся, начиная с пятидесятих—шестидесятих годов, а именно в Германии, изжившей до конца свое философское наследие и ныне ищущей творческого выхода из предметной пустоты.

Четверть века тому назад покойный князь С. Н. Трубецкой, глубоко ценивший учение Гегеля, посетив Германию, указывал на то, что Гегеля там мало изучают и плохо знают; и трудно не признать, что и теперь еще немного в этом отно-

шении изменилось к лучшему. Не говоря уже о множестве известных, работающих в философии ученых, которым Гегель остается совсем чуждым (таковы психологи, кантианцы, фихтеанцы, фризианцы, эмпирики, релятивисты и другие), но и среди тех, которые пишут о Гегеле, а еще более говорят о нем, — очень немного таких, которые действительно углублялись в историко-философское изучение его системы. Старшее поколение не обращалось к нему сознательно, хотя и восприняло многое из философской атмосферы его времени; а молодое поколение не сумело еще найти самостоятельный подход к его философии и вработаться в строй его идей. Вот почему „возрождающееся“ гегелианство застаёт всех как бы в некоторой беспомощности: глубокому и внутренне мотивированному тяготению не соответствует достаточное знание того, к чему влечется дух и мысль. О Гегеле говорят и пишут, но не знают точно, чему же именно он учил и чего хотел; литература о нем изобилует самыми курьезными суждениями и недоразумениями; по-видимому, никто не замечает, что здесь что-то упущено, что утрачен некоторый заповедный вход, который непременно должен быть вновь отыскан. И только Виндельбанд, со свойственным ему глубоким взглядом и идейной честностью, указал на то, что новое поколение должно еще дорасти до понимания этой философии.

Утрачено *непосредственное чувствование* Гегелевой мысли, живое видение с ним вместе *его* мира и в *его* спекулятивных категориях и терминах. А вне этого чувствования и видения трудно говорить о его идеях и воззрениях. Ибо такова одна из основных особенностей всякой гениальной мысли, что она *не может быть понята одною мыслью*. А в отношении к Гегелю это обнаруживается с особенною силою. Гегель, как выразился Розмини, влагает во все содержания как бы „некоторое безумие“; он говорит обо всем и даже о самом обычном так, что оно повертывается к зрителю какою-то новою, невиданною, как бы внутренне противоречивою и едва улавливаемою в понимании стороною: в знакомом раскрывается небывалое, в простоте — сложность, в неподвижном спокойствии — смятение и хаос, в доступности — неодолимая трудность; сдвигаются непривычно все обыденные понятия; мысль чувствует себя как бы перемещенною в новое измерение и дивится, не доверяя себе и своим содержаниям. Гегель видит предмет по-своему: он как бы *видит его мыслью* и *мыслит* его как бы *воочию*, приближаясь в этом к Пармениду и Платону.

Тот, кто говорит о „возрождении“ Гегеля, должен научиться видеть с ним вместе; он может потом отказаться от этого способа видения, но он должен предварительно овладеть им, чтобы знать, что же именно Гегель имел в виду, *от чего* из этого, имевшегося

в виду, следует теперь отказаться, и *почему* именно. Всякой критике и всякому научению необходимо предшествует *понимание* отвергаемого и приемлемого: историк философии является прежде всего *историком*, изучающим данную систему опыта и идей, и лишь затем становится *философом*, самостоятельно созерцающим предмет и критически сопоставляющим исследованное учение с предметным содержанием. Или, точнее: историк философии, оставаясь все время философом, созерцает предмет сначала через опыт и через идеи изучаемого философа, а потом уже самостоятельно и критически.

Это означает, что ему надлежит овладеть изучаемой системой *изнутри*: принять ее в себя, потерять себя в ней и усвоить ее так, как если бы она была его собственным созданием, — усвоить ее стиль, ее акт и ее содержание.

Всякое философское учение дано изучающему, прежде всего, в виде ряда словесных формул, в большинстве случаев записанных самим мыслителем и преданных тиснению. В этой первой, словесной видимости скрывается некое содержание, подразумеваемое за каждым высказанным словом. Для того чтобы произведение могло быть признано аутентичным, связь между означивающим словом и означенным содержанием должна быть обретаема и установлена самим мыслителем. Акт „облечения в слово“ доступен только тому, кто пережил содержание *непосредственно*; и только на втором плане могут быть приняты во внимание *не* непосредственные формулы, проистекающие из другого сознания. Одиночество творящей души — в испытании и в мысли, в созерцании и в слове — неустранимо и ненарушимо ничем; и казалось бы, что, при таком положении вещей, утверждение Горгия о невозможности передать другим познанное (*οὐ δηλωτὸν ἄλλοις*), должно было бы получить полное признание. И, тем не менее, путь усвоения чужого познающего опыта возможен, необходим и реален. Это есть путь *художественного отождествления* исторически изучающего духа с духом, творчески созерцавшим предмет; осуществимость этого пути гарантируется природою *мысли*, придающей своим содержаниям характер *тождественности* и *повторяемости*; а критерием или признаком того, что это отождествление состоялось, будет тот свет понимания, которым осветится и сущность учения и глубина самого объективного обстояния: утверждения и слова, с виду искажавшие природу единого для всех философского предмета, раскрываются и приемлются, как *им* порожденные, как насыщенные *его* присутствием и отражающие *его* черты, даже в своей неточности или ошибочности. Историк философии задано осуществить *тайну художественного перевоплощения*: *принять чужое предметосозерцание* и усвоить его с тем, чтобы раскрыть воочию его силу и его ограниченность.

Понять чужое учение не значит вложить *свое* содержание в чужие слова; но значит обрести то самое содержание, которое испытывал изучаемый мыслитель. Для этого необходима, прежде всего, готовность временно и условно отказаться от „собственного“, устойчивого и негибкого словоразумения, или, вернее, как бы „отложить его в сторону“. Необходимо придать „своим“ „категориям“, своим терминам, своему стилю некоторую мягкую уступчивость, некую улавливающую впечатлительность и приспособляемость: весь аппарат и механизм „личного“ словоупотребления должен быть приведен в состояние чуткой готовности следовать за указаниями и за непосредственными проявлениями изучаемого философа. Уловленное и замеченное словообозначение должно быть многократно проверено и затем усвоено силою напряженного внимания: необходимо выработать себе как бы второй стиль, второе словоупотребление, второе словоразумение, и, притом, адекватное философскому разумению данного мыслителя.

Вся эта работа является, однако, лишь подсобным приемом для разрешения главной задачи. Художественное приятие *стиля* служит средством для художественного воспроизведения философского *акта*.

Проникнуть через слово к явленному и в то же время скрытому в нем содержанию и адекватно воспринять его силами *своего* духа возможно только через воспроизведение того *акта*, которым осуществлялось философствование *изучаемого мыслителя*. Каждый философ творит свое познание *мыслью*; но при этом он своеобразно сочетает или, даже, сплетает ее с другими душевными функциями — внешнего ощущения, воображения, чувствования и воления. Сознательно или бессознательно, он выковывает себе из сочетания этих функций и первоначальный опыт, если он вообще отделяется у него от мышления, и, далее, самое мысленное „понятие“ испытанного содержания. Таким образом, возникает более или менее сложный и дифференцированный, целостный и гибкий акт, допускающий и принимающий в свой состав каждую из способностей-компонент в известном индивидуально-своеобразном размере и в известной субъективно-творческой интенсивности. Обращаясь к единому, основному предмету, философ созерцает его, внемлет ему и „берет“ его именно этим *актом*; и в результате этого он видит и познает именно то и только то, что соответствует *его* специфической структуре и природе. Тот, кто воспроизводит этот акт, тот овладевает непосредственно имманентным ему содержанием и, естественно, начинает видеть предмет очами изучаемого философа. Силу гениального видения повторить нельзя — здесь возможна только большая или меньшая природная „конгениальность“; но художественно воспроизвести духовное *строение* акта возможно, а

для историка философии прямо обязательно. Только такое воспроизведение может открыть действительный доступ к узренному содержанию и в то же время подтвердить изучающему историку, что он движется по стопам изучаемого философа. И если усвоение стиля облегчает усвоение акта, то воспроизведение акта открывает предметные корни стиля. Так именно обстоит всегда у гениального предметосозерцателя: ритм предмета становится живым ритмом внемяющего духа и находит себе адекватное явление в ритмических сверканиях стиля.

Согласно этим требованиям, моя многолетняя работа над философией Гегеля была посвящена именно посильному художественному воспроизведению его философского акта и попытке увидеть тот предмет, который он видел и которым он жил. Это задание является, по существу, историческим, ибо дескриптивное воспроизведение „бывшего“ и аналитическое познание его в имманентной ему закономерности составляет задачу историка. Однако это задание имеет и философскую сторону, ибо раскрытие сверхчувственного предмета, подлинно пережитого во внутреннем опыте и узренного силою сознательно-усвоенного философского акта, всегда было и будет делом философии. Эта философская задача самостоятельного испытания и формулирования получила для меня исторический предел, ибо акт, которым я сознательно ограничил в данной работе мое созерцание предмета, был акт, описанный Гегелем и посильно воспроизведенный мною, согласно его указаниям. Но именно поэтому я тщательно различаю между тем, что Гегель видел в предмете и что вижу я сам; и умалчивая о последнем, я вижу себя вынужденным ограничиться одною только внутреннею, „имманентною“ критикою его учения: я касаюсь предмета лишь постольку, поскольку его касался Гегель и поскольку его философия, познавая и ошибаясь, находила свою судьбу в этих открытиях и ошибках. Постольку внутренняя „критика“ органически входит в историческое исследование и сливается с аналитическим описанием; тогда как внешняя критика, основанная на самостоятельном созерцании предмета, потребовала бы особого догматического исследования и при отсутствии его превратилась бы в своего рода *petitio principii*.

Предпринимая такую историческую работу, я исходил от убеждения, что она должна представлять не только исторический интерес, но и философско-пропедевтический и предметно-догматический.

Восстановить природу философского акта, осуществленного Гегелем, значит не только развернуть страницу „прошлого“, но и вскрыть некий классический способ философствования. Необходимо перевести этот способ, не упрощая и не искажая его, на язык современных понятий, как бы разобрать и снова собрать его, открывая тем для каждого возможность усвоить видение

Гегеля. Это значит показать, как возникает и вырастает настоящая, классическая философия; в каком отношении она стоит к предмету; как слагается ее метод; и, наконец, какой характер, в смысле духовной чистоты, объема заданий и глубины проникновения, имеют ее лучшие создания. Имея это в виду, я задумал мою работу о Гегеле как своего рода „введение в спекулятивную философию“.

Но показать систему Гегеля в том виде, как она вырастает из его философского акта, направленного на предмет, значит дать материал для *предметно-догматической критики*. Для того чтобы выделить в этом учении „живое“ от „мертвого“, как это предпринял Кроче, необходимо уже иметь за собою эту работу. Нельзя „возродить“ учение, неясное и проблематическое в своем методе и содержании; не стоит подвергать критике систему воззрений, не оправданную в подлинном, личном опыте. Наконец, только интуитивное углубление в духовную атмосферу философии Гегеля может застраховать это „возрождение“, с одной стороны, от томительного и бесплодного эпигонства, бессильно повторяющего сказанное с незначительными изменениями („*Modifikationchen*“, по выражению Гегеля) и этим заполняющего антракты между истинно-философскими совершенствами; с другой стороны, от случайного, внешнего заимствования, от разламывания учения на недопонятые кусочки для более или менее постороннего и произвольного использования. Возрождение гегелианства или совсем не нужно, или должно быть чем-то несравненно большим, нежели простое „возрождение гегелианства“. Философия нуждается не в повторении старых ошибок и не в подражании былым приемам, но в *самостоятельном духовном творчестве, основанном на непосредственном и подлинном предметном опыте*.

Проходит, по-видимому, время того нерешительного и как бы запуганного философствования, которое отправлялось от условно допущенных и, в сущности, произвольно избранных предпосылок или подвигалось вперед исключительно *вместе* с кем-нибудь, опираясь или на Канта, или на Фихте, или даже на тех, которые сами, в свою очередь, только и могут существовать в качестве „опирающихся“. Эта философия шла не от самого предмета, а от *чужой философии*: эта чужая философия становилась сама „предметом“ и, притом, единственным предметом. Характерная для всякого эпигонства черта — утрата непосредственного познавательного соприкосновения и единения с самим предметом господствовала в философии, и мысль привыкала двигаться только за искусственными перегородками, создававшимися повышенной научной мнительностью. Писались трактаты о методе, а о предмете царило молчание. Люди, по превосходному выражению Зиммеля, все только рассматривали очки

вместо того, чтобы смотреть *в них*; все только чистили оружие вместо того, чтобы сражаться им.

И вот, теперь слагается и крепнет обратное стремление. Там и сям обнаруживается решение прорваться за пределы предпосылок, методологических допущений, авторитетных формул к самому предмету: подойти к нему непосредственно и самостоятельно, на свой риск и страх, без посредников, „опор“ и других помех, отнюдь не порывая с наукой и научностью, но и не трепеща за сохранение традиционных и якобы единственно состоятельных форм этой последней. Философия должна вступить на этот путь в спокойной уверенности, но с живым чувством познавательной и духовной ответственности. Она должна возродить и восстановить свой *метод* — не в смысле системы более или менее отчетливо расчлененных „понятий“ или „правил“, а в смысле творческой, систематически осуществляемой интуиции, направленной на самый предмет. И тогда она, быть может, вновь осмелится признать себя особым, *универсальным* способом познания, *опытным* по существу и *метафизическим* по предмету; тогда она перестанет страшиться „последних“ проблем, но признаёт и утвердит свое призвание именно в их разрешении.

При этом систематическая форма учения не может и не должна быть предметом нарочитых поисков. Философия должна быть точным выражением или адекватным явлением самого предмета; а между тем, до изучения его никто не может знать, имеется в нем систематическое единство или нет. Не может быть такого задания: изобразить предмет иначе, чем он есть на самом деле; например, установить закономерность там, где ее нет, или изобразить множество, мятущееся в хаосе, как целостное, органическое единство. Философ должен заботиться только о *верности предмету*, а „единство“ или останется единством *воззрения*, или вольется в учение от самого предмета, снизойдет, как дар, как счастье, так, что познавший его будет уверен, что оно не *от* него, а лишь *через* него.

Может быть, ни одно философское учение не может так содействовать этому творческому подъему, как учение Гегеля. Один из величайших интуитивистов в философии, он настаивал на необходимости созерцательного погружения в предмет, доведенного не только до полного самозабвения, но до забвения о том, что это самозабвение вообще состоялось: рассказ о том, что было узрено в этом погружении, будет уже не внешним описательным сообщением, но как бы речью самого предмета о себе, за себя и от себя. И при такой энергии внимания и видения он не знал ни одного вопроса, который не стоял бы для него в самой живой и непосредственной связи с *последними* вопросами. Трудность понимания, которую представляет его учение, объясняется отчасти той содержательной переобремененностью, в ко-

торой все предстает у него для непривычного глаза. В каждом познании у него светится последняя глубина; в каждом определении видится вся сложность его интуитивно-мыслящего подхода. Можно было бы сказать, что для Гегеля нет непоследних вопросов. И перед этой энергией и глубиной меркнет и отходит на второй план все его дедуктивно-диалектическое искусство.

Одно тяготение современной мысли к его учению является, само по себе, показанием того, что ей необходимо что-то большее, чем то, что питало ее доселе. Та особливая осторожность, воздержанность и мнительность, которыми характеризуется философствование последних пятидесяти лет, должна смениться в недалеком будущем большей уверенностью в своих силах, умением и желанием брать на себя „вину“ и ответственность самостоятельного и непосредственного познания. Беды и страдания, пережитые человечеством за последние годы, пробудят в душах неискоренимую потребность в творческом, предметном пересмотре всех духовных основ современной культуры, и философия должна будет удовлетворить этому духовному голоду. Она должна будет вновь найти доступ к *научному знанию о сущности Бога и человека*. И в этом отношении влияние Гегеля, с такою силою и настойчивостью противопоставлявшего объективизм и очевидность философского знания субъективной уверенности, произволу и усмотрению, может оказаться воспитывающим сразу и в сторону большого, интуитивно-мыслящего дерзания, и в сторону большого познавательного отречения субъекта от себя, от своего эмпирического самочувствия, своих расплывчатых субъективных настроений и мнимых „откровений“, не поддающихся предметному оправданию.

Философское значение гегелианства не в том, чтобы ученичествовать, но в том, чтобы учиться самостоятельному и предметному знанию о самом главном, что есть в жизни человека.